

Глеб Иванович Успенский

«Неизвестный»



Глеб Иванович Успенский
«Неизвестный»
Серия «Очерки и
рассказы (1862–1866 гг.)»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664815*

Аннотация

В этом очерке мы встречаемся с одним из наиболее ранних выражений эстетических взглядов Успенского. Срывая с «неизвестного» его «таинственную мишуру», требуя в литературных произведениях устранения романтических «декораций», мешающих видеть правду истинной жизни, Успенский ратует за реалистический метод изображения действительности.

Содержание

I	4
II	9
III	18
IV	36
Примечания	60

Глеб Иванович Успенский

«Неизвестный»

(Очерк)

I

Всякий, кому когда-нибудь приходилось пробегать страницы иностранных и отечественных драм, трагических романов и романических трагедий, без сомнения помнит загадочную фигуру *Неизвестного*, не имея никакой возможности сообразить – к какому сорту людей принадлежит эта фигура. Неожиданное появление, таинственный вид, гробовой голос, меланхолическая драпировка испанским плащом, который, вместе с широкополой шляпой, надвинутой на глаза, так укутывают неизвестного, что зрителю виден только энергический нос и единственный грандиозный ус, смотрящий вверх, к небу, наконец рука, медленно высовывающаяся из складок плаща и указывающая сначала в пол, а потом, при конце монолога, в потолок, то есть на небо, которое призывается сюда покарать неправоное дело, – все это ставит неизвестного особняком от людей, встречающихся в обыденной жизни, и совершенно туманит читателя или зрителя, если тот ищет в пьесе не запутанности и неожиданности в завяз-

ке и развязке, – а живых людей. Глядя на эту закутанную фигуру, решительно невозможно допустить ни одного из вопросов, которые сами собою рождаются при взгляде на личность невыдуманную: что это за человек? где родятся такие люди и чем живут они? Ни фразы, которые изрекает таинственный незнакомец, ни его в высшей степени злые или в высшей степени добрые дела не помогут читателю решить этих вопросов, – а скорее оттолкнут его от этой фигуры, как от пошлой и тупой выдумки, заставят решить, что нет таких людей и быть не может. Заключение ошибочное, потому что неизвестные существуют, и в огромном количестве, самых разнообразных красок и шерстей. Не существуй они, и поэт или *сочинитель* не выдумал бы и тех уродов, которые пугают зрителей и читателей одною уже своею внешностию. Попробуйте разоблачить в неизвестном всякую таинственную мишуру, сдерните с него этот плащ и эту шпагу, и вы увидите, что он сам откажется от своих гремучих и витиеватых фраз, от своего незавидного положения скитаться из одной драмы в другую; вы увидите на нем прорванный подмышками и на локтях сюртук, с остатками мелу на спине, разодранный козырек у картуза, две недели не бритую голову и нос, какой бог дал, иногда вовсе не энергический, потому что шрам, который видите вы на нем, ясно доказывает неустойку его в борьбе с тротуарной тумбой. Ни в какие добрые или злые дела, ни в какие чужие трагедии и драмы этот неизвестный не решается показывать своего носа, хорошо зная, что

в обыденной жизни драмы оканчиваются кварталом и подачею прошения на гербовой бумаге в разные высшие инстанции, причем неизвестного могут прицепить к делу, – и тогда скоро не отвертишься. Поэтому неизвестный появляется не с какими-нибудь невероятными требованиями, не с ужасающими приемами и фразами, – а скромно, потихоньку, по возможности под вечер: он не надвигает своего картуза на глаза, но почтительно снимает его и, держа его около уха, не гробовым, а простуженным голосом произносит:

– Милостивый государь! Где вы посоветуете мне ночевать? – То есть: «Ради бога, – дайте мне хоть что-нибудь, потому что я наг, бос, голоден и без пристанища. Но я не говорю вам этого прямо и выражаюсь театральной фразой потому, что я из благородных... Да! я благородный, милостивый государь!...»

Словом, вы увидите вовсе не загадочную фигуру, в которой сходятся высшие точки добра и зла, – а просто-напросто *пустой желудок*, который тащит за собою все существо незнакомца и подвергает его множеству неожиданных столкновений, большинство которых не обходится без ущерба для него. Поэт, или вообще сочинитель, не разглядел этого, – он подхватил на свою удочку только пейзажную, так сказать, сторону этой фигуры, то есть кажущуюся беспричинность появления, тотчас сообразил, что эта неожиданная нелепость может с успехом пригодиться для потрясения сердец высокопочтеннейшей публики, и, не долго ду-

мая, нарядил этого несчастного человека в уродский костюм, закутал в огромных полах испанского плаща свое неумение сладить с задачей и свое больное воображение, нахлобучил на глаза шапку и выпихнул на сцену, приятно созерцая вытянутые и недоумевающие физиономии зрителей. А пустой желудок, или тот же неизвестный, продолжал, попрежнему незамеченным, проскользать под самым носом у растроганного зрителя, являясь или на тротуаре, с просьбою о ночлеге, то есть в самом последнем градусе неизвестности, или только в виде вруна, еще нерешительного в своем вранье, без которого, впрочем, существование его уже невозможно. Пустой желудок сказывался ему во множестве этих непризнанных художников, поэтов, слоняющихся с каким-нибудь недоконченным эскизом или куплетом, который, по их понятию, должен когда-нибудь обратить на них все, теперь пренебрегающие ими, взоры; являлся в виде многого множества юношей, не знающих, куда деть себя, которые, нищенствуя и терзаясь внутренней пустотой, убиваются над решением высоких *философических* вопросов вроде: что такое жизнь? зачем она? – и вместе с тем ташат с собою и бездну погибели булочников, веривших в кредит, квартирных хозяев и проч., так что все их ежеминутное терзание со стороны принимает довольно комический вид. Вообще неизвестный проявляется в каждой фигуре того огромного класса людей, у которых, вследствие бесчисленных обессиливающих обстоятельств, отнята всякая возможность жить так, как хочешь,

не делаясь при этом человеком лишним и паразитом. Выставляя этот самый заметный признак, по которому узнается неизвестный, в каком бы виде ни явился он, как бы он ни старался; загородить, задрапировать себя, – мы, хоть даже и во имя этого признака, хотим узнать подробно все уничтожающие полезную деятельность причины.

Начинаем с провинции, где вековая тишина нравов не доводит неизвестного до ужасающих картин столичного нищенства. Наудачу берем самую трогательную.

II

Под вечер, в небольшой, но опрятно убранной комнатке в городе N, сидит у раскрытого окна довольно флегматичский господин, вечный холостяк, и размышляет, о чем бы подумать? Думал он о жаре, мучившей целый день, думал о том, что теперь настало такое сухое время, когда ни думать, ни говорить решительно не о чем. Что бы еще? Думает он так, покуривает не спеша трубку, вздыхает... Вдруг из-за угла вырывается извозчик с седоком, огибает угол дома с другой стороны и останавливается у подъезда. «Кто бы это?» В ответ на этот вопрос в дверях является какой-то совершенно незнакомый гость; он торопливо сбрасывает с плеч полинялую люстриновую тальму, перекидывает ее через руку и, остановившись перед хозяином, произносит:

– Если не ошибаюсь, – господин Хрущов?

– Я-с!.. – говорит хозяин.

Гость делает шаг вперед и, сжимая руку хозяина, продолжает:

– Если помните – Бабков...

Недоумевающий взгляд хозяина заставляет гостя сделать о себе еще более точное напоминание:

– У Кузьмы Данилыча? в деревне? на обеде?.. Помните?.. – прибавляет Бабков, не выпуская руку хозяина.

– А-а... Помню-с...

Тут только хозяин действительно вспоминает физиономию гостя; вспоминает он, что видел его как-то мельком на деревенском обеде Кузьмы Данилыча и не обратил на него никакого внимания: фигура Бабкова мелькала там каким-то метеором – то там, то сям, не обращая на себя ничьих взглядов. Едва ли даже и сам хозяин обеда знал, кто такой этот Бабков. Но господин Бабков, кажется, не обращал на это никакого внимания и вместе с другими подходил к закуске, вежливо проталкиваясь вперед плечом и говоря при этом: «Па-азвольте, сделайте а-адалжение... Благодарю вас!..» Хозяин вспоминает, как по окончании торжества у Кузьмы Данилыча Бабков приставал к одному из гостей, уверяя, что «нам с вами по дороге», и как гость всеми мерами старался отклонить желание Бабкова ехать вместе. Между прочим почему-то вспомнился случай, происшедший тут же у Кузьмы Данылыча, – а именно: пропажа чьей-то серебряной табакерки и проч. Все эти воспоминания о личности Бабкова были крайне невыгодны для него, ибо после них родилось в голове хозяина слово «прохвост» и чуть ли не «жулик». Кроме того, хозяин положительно не понимал причины его посещения и решил отделаться от него по возможности скорее...

Между тем Бабков, надеясь встретить в хозяине доброту провинциала, предполагал распорядиться временем иначе. Он ждал, что хозяин скажет: «Ах, очень рад, чаю не прикажете ли? водки?» – «Нет, я не... Впрочем, позвольте...» – «Да вы отпустите извозчика... Позвольте-ко, я велю ему

отдать... Сколько ему?..» и т. д. Почти уверенный в таком ведении дел, Бабков не спеша повертывает кресло боком к хозяину, садится в него, вытягивает вперед ноги в лаковых ободранных полусапожках и в каких-то жидких замасленных панталонах и, стаскивая широкую пропотевшую палевою перчатку, говорит:

– Я вам мешаю?..

– Ннет-с... ничего...

Бабков швыряет перчатки в белый люстриновый картуз, значительно запыленный сзади, расправляет свои жидкие, но топырящиеся усы, кашляет слегка и ожидает одного из тех вопросов, которые были приведены выше. Но вопросов этих не следует. Бабков пробует натолкнуть на них и для этого, во-первых, считает нужным подзадорить хозяина на разговор... Он заговаривает о провинциальной скуке, хвалит собаку хозяина, вспоминает при этом множество чудовищных историй, в которых играли главную роль собаки, как его, Бабкова, собственная собака спасла ему жизнь... и проч. Хозяин произносит: «гм»... «да»... «н-нет»... «не думаю» и проч. и убеждается, что перед ним действительный прохвост и пустомеля. Время между тем идет, и положение Бабкова делается неприятным: извозчику не заплачено; каких бы то ни было других знакомых, встреченных хоть раз в жизни, не припомнит... Хозяин, видимо, съезжился, заперся... Все это вместе заставляет Бабкова принять усиленные меры, поддаться разговору игривости и клубнички, которую, сколько он пом-

нит, провинциальные холостяки любят... Он поддает и того и другого, помирает со смеху, рассказывая пошлейший анекдот, и уже окончательно надоедает хозяину... «Однако порядочная скотина этот Хрущов», – решает он, и чтоб хоть чего-нибудь добиться, хоть рюмки водки (после которой дело должно пойти живее), хоть даже внимания и вежливости, которая придала бы посещению форму визита одного благородного человека к другому, тоже благородному человеку, – остается одно – самому охладеть, не лизаться к хозяину, а обнаружить небрежность и проч. Безуспешно и это... Прокляв в душе наглость этого неповоротливого мешка, к которому судьба, как на смех, бросила его, он решает придать разговору такой тон, как будто ничего и не было неприятного. Молча выпускает он из угла губ струю дыма, который, проскользнув сквозь жидкий ус, тянется в сторону, вздыхает и говорит:

– Что это погода-то...

Говорит он это так, что нельзя разобрать: хороша погода или плоха. Дело в том, что он желает сам узнать, нравится ли погода хозяину или нет. Хозяин издает какой-то звук, – Бабков находит, что нравится, и прибавляет:

– Прелесть!

– Гаже подобной погоды я никогда ничего не мог себе представить, – обрывает хозяин, не переставая смотреть в окно.

– То есть, для хлебов, ваша правда, действительно нужно

бы дождя, – поправляется Бабков.

– Для хлебов теперь вовсе не нужно дождя... Теперь уборка...

– То есть, положим... Но все же, я думаю, маленький... слегка...

– Ни капли...

– Впрочем, действительно... рабочая пора... Я с вами совершенно согласен, дождь – помеха, но для воздуха... для свежести...

Хозяин сознает, что для свежести не мешало бы дождичку, но предпочитает оставить гостя в недоумении, будучи убежден, что стоит только хоть раз согласиться с гостем, и тогда положительно невозможно будет выжить его из своих собеседников... Бабков пускает усиленный куш папиросного дыма, сначала одним концом губ, потом другим, и, подняв голову кверху, успевает пустить к потолку тощее колечко... Положение неловкое. Бабков начинает чувствовать, что хозяином замечен его истасканный костюм, грязная рубашка со старинными отложными воротничками, короткие рукава, загорелые, худые, длинные и жилистые руки, физиономия смятая и испитая, но желающая сохранить юношескую свежесть... Все, все замечено... Все против него. Он начинает падать духом. Даже вздыхает один раз самым искренним образом, глядя на скардную фигуру хозяина, который может сейчас же выгнать его, Бабкова, вон, ибо ни на волос не считает его для себя нужным, и проч. и проч. Бабков терзал-

ся... Но когда перед ним мелькнула в сотый раз та же беззаботность и полное пренебрежение на лице хозяина, та же неповоротливая спина, не желающая повернуться, исключительно из нежелания изменить положение, не обращая внимания, что тут человек, – Бабков сразу почувствовал внутри себя некоторую отвагу... гордость. У него родилось желание превратить это свиное спокойствие в ничто, в прах, – унижить в его глазах это дурацкое провинциальное спокойствие, это грошовое довольство возможностью выкинуть за окно все сколько-нибудь нарушающее болотное однообразие провинциальной жизни. Бабков негодовал вполне красноречиво и пламенно. Он искал, чем бы посильнее двинуть в эту неподвижную статую, чтоб она рассыпалась вдребезги, и не нашел ничего лучшего, как небрежно сообщить, что недавно с ним случилась *маленькая* неприятность, – именно: он проиграл четыре тысячи рублей...

– Ого! – произнес хозяин, нисколько не опасаясь за эти тысячи. – Куш...

– Оно, видите ли, не то что куш... – вяло продолжал Бабков, смотря себе на ногти и не глядя на хозяина из нежелания видеть его побежденным и испугавшимся из великодушия. – Не куш... Но время... Это главное...

– Конечно!..

– Я бы мог сделать оборот, – и у меня вот он, другой куш... Что прикажете делать... Увлекся!.. Я, надо вам сказать, вообще не играю... то есть, если хотите, я играю, например,

как и вы...

– Я не играю...

– То есть... Ну, да! и я не играю, если хотите... Но сравнительно...

– Никак не играю...

– «Что за дьявол!» Видите ли, проиграть свои карманные деньги... то есть деньги, какие постоянно носишь с собою... Какие-нибудь сто, двести, – я считаю безгрешным.

– Безрассудно и глупо...

– Но согласитесь же... в жизни человека... Человек так создан, что всякое увлечение... что без некоторого увлечения жизнь это будет – не жизнь... а... а-а-а...

– Согласен-с. Семен! Достань новый сюртук и приготовь бриться... Продолжайте, господин Бабков, я слушаю...

– Вы уходите?

– Да-с... Нужно... кой-куда...

– В таком случае, – нехотя мямлит Бабков, – не смею вам мешать...

Хозяин не возражает. Бабков слишком неохотно отыскивает шапку, еще неохотнее напяливает перчатки, мучительно сознает, что все погребло!.. Мерзкая фигура хозяина видимо оживляется благодаря исключительно скорому удалению гостя. Хозяин жмет ему руку и с полуулыбкой говорит:

– Куда-нибудь спешите?..

– Да! нужно...

– Дела? – вопросительно вскидывая глазами, прибавляет

ХОЗЯИН...

– Д-да...

– Гм...

Хозяин берет подсвечник и провожает Бабкова в переднюю; полуулыбка не сходит с его губ; эта же улыбка и даже некоторое насмешливое высовывание языка видится ему, Бабкову, во всем: стены, окна, шапка, надетая на голове его, перчатки – все это жестоко смеется. Чтобы придать свиданию хоть какой-нибудь оттенок порядочности, он вдруг останавливается на пути к двери и, спохватившись, произносит:

– Ах, да! Помните вы Зубилова? Брюнет?

Хозяин припоминает...

– Там же, у Кузьмы Данилыча?.. Этаким весельчак... Еще, помните, все хохотали...

– Нет-с, не припомню...

– Умер!..

– Скажите!!

– Пять человек детей – без средств.

– Гм. Царство небесное... Семен, запири за ними...

– До свидания.

– До приятного свидания. Запирай!

– Пошел! – кричит рассерженный Бабков извозчику.

– Куда прикажете?

– Прямо! Куда бы это? вот положение!

На перекрестках извозчик слегка придерживает лошадей, полагая, что барин прикажет повернуть.

– Прямо!..

Извозчик мчит Бабкова все прямо, все прямо...

III

Николай Федорович Бабков, который так неожиданно явился и исчез, имел, как и все, своих папеньку и маменьку. Маменька умерла, оставив его пяти лет, и когда четырнадцатилетний Коля, запыленный и загорелый, приехал домой из уездного города, где жил у родственника и учился в уездном училище, вся семья Бабковых состояла из отца, двух братьев, считая Колю, и сестры. Отец происходил из простых крестьян и служил в военной службе. Долгая и не останавливавшаяся ни на минуту в течение двадцати пяти лет вытяжка выкурила из него ту мужицкую дурь, которая иногда подзадоривала двинуть в чью-нибудь рыжую физиономию, ту мужицкую дурь, которая в другой раз подзадоривала на такое словцо, от одного появления которого мог бы испортиться воздух на десять верст в окружности. Постепенно выходила эта дурь и, наконец, исчезла совсем, когда на рукаве явилась какая-то нашивка, а в груди забушевал кашель, напоминавший бой испорченных часов, доносящийся из пятой комнаты; прошла мужицкая дурь, — и там, где прежде чувствовалась дрожь негодования, теперь выступал робко пот и слова не сходили с языка. Да и слов-то в эту пору *своих* не было никаких. — Федор Никитич мог понимать только то, что рекомендует служаку; только «рад стараться», «слушаюсь», «виноват» находились в его вытрезвленной го-

лове, а эту голову он считал только мишенью, в которую рано или поздно попадет чья-нибудь басурманская пуля. Охотно нес он эту голову, яро наскакивал на летевшую без толку пулю, все больше и больше убеждался, что в жизни существует одно мудрое правило «терпи». Терпел и выслужился в офицеры... Тут он вспомнил, что когда-то, очень давно, — он знал другую, *свою* жизнь, такую жизнь, какую живут все добрые люди; вспомнил он, что у добрых людей есть жены; жены эти по воскресным дням ходят с ними к обедне, по будням стряпают, сидят под окнами и разговаривают; узнают и разгадывают сны и родят детей. Захотелось Федору Никитичу своей жизни; захотелось ему жены и покою. После выхода из службы был он управляющим у вдовы Крюковой — богатой барыни. Барыня эта и женила его на своей компаньонке, бедной, в чем-то провинившейся девушке, успевшей привыкнуть ко всему мишурному блеску барской жизни, успевшей обзавестись такими возвышенными предметами, как — *разбитое сердце*, несбывшиеся мечты, разочарование и проч. и проч. Федор Никитич не понимал всех этих тонкостей и не знал о существовании их, — он только удивлялся, видя, что жена его ни разу не сходит с ним к обедне, просит кухарку налить чай, о чем-то скучает, работа плохо клеится в ее руках, все ей «прими да подай»... Отчего она не сходит никогда даже наверх, к своей барыне, благодетельнице... Федор Никитич недоумевал надо всем этим, боялся в чем-нибудь попрекословить своей жене, всячески старал-

ся угодить, услужить. Жизнь с трубкой в зубах, у раскрытого окна, за стаканом чаю не удалась. Он еще раз повторил: «терпи», убедился, что нужно терпеть, и терпел. Целые дни ходил он перед супругой, ожидая приказаний; потихоньку вздыхал, потел и вытирался своими ситцевыми платками.

– Боже мой! Когда вы бросите эти противные платки! – часто говорила изнеможенная и расстроенная жена, глядя, как муж, понюхав табаку, расправлял не спеша платок с изображением какой-то отчаянной битвы и приготавлился сунуть нос в самый стан неприятелей...

– Да ведь сами изволите знать, Анна Васильевна... Табак нюхаешь... Белые платки – надолго ли? Раз высморкался... два высмор...

– Оставьте, оставьте, ради бога... Таскайте с собой хоть рогожу...

Федор Никитич в это время как-то крякнет, подойдет к окну и, чтоб успокоить жену, постарается отвлечь ее внимание от неприятного предмета.

– Тучки-то, того и гляди, разойдутся...

Анна Васильевна не отвечает ему. Слышен вздох.

Федор Никитич сам ответит себе: «разойдутся», и пойдет на крыльцо разговаривать с дворником. Чувствует Федор Никитич, что ему с дворником много свободнее.

Мучилась Анна Васильевна с своим мужем и старалась более молчать. «Но зато, – сказала она себе, – я выведу моих детей из грязи...» И все ее заботы были устремлены на Пе-

тю и Олю (Коля был еще маленьким). Она шила им разноцветные рубашечки, завивала локоны, учила французским басенкам и стишкам. «Гнездо ласточек», «Стрекоза и муравей», «Бог награждает добродетель» и другие французские безделки лепетали они очень мило. Мамаша не отпускала их от себя ни на шаг; говорила: «тезе», «не-туше-па»¹ и проч. Вообще трудно было понять, к чему готовила она этих «милых малюток», – ей, повидимому, хотелось, только того, чтобы они не чистили своих носов такими расписными платками, как их возлюбленный папа. Во всяком случае, что бы ни хотела она сделать из своих детей, Федор Никитич не мешался в ее дела, опасаясь испортить дело. «В самом деле, – думал он, – что я такое? солдат... А тут хоть та радость будет, что дети с господами себя не уронят». Один раз только попробовал было он приложить свои силы к воспитанию детей, намереваясь вытащить из прекрасного носика Оли какую-то «козу» или «волка», который будто бы ночевал там. Но едва он только сделал необходимые, по его мнению, приемы, то есть зажал слегка в коленях нежненькую Олю, одной рукой загнул ей назад голову и другой, очистив пальцы, взялся за ее маленький носик, – как немедленно последовал взрыв всяческого ужаса и со стороны матери и со стороны Оли, плач, вой, истерики... Федор Никитич с тех пор закаялся принимать какое-нибудь участие в этом, по словам Анны Васильевны, – не его деле. – Так одна Анна Васильевна

¹ *Тезе, не-туше-па* (франц. *taisez, ne touchez pas*) – молчите, не трогайте.

и орудовала над Петей и Олей; умирая, она умоляла свою бывшую воспитательницу не оставить ее детей, не дать им погрязнуть, затереться в низком и неопрятном обществе и не могла вспомнить, что будет с несчастным Колей, который остается совершенно без ее призора и руководства. Умерла Анна Васильевна; Колю взял какой-то родственник в уездный город К. и потом отдал в уездное училище. Помещица и благодетельница исполнила просьбу покойной компаньонки и воспитанницы и не допускала ее детей до той трудовой жизни, которая бы как раз нужна была им. Федор Никитич и тут уступил нужному, необходимому, сказал «терпи» и не мешался в жизнь своих детей.

Дети госпожи Крюковой выросли в чуть ли не тридцатилетних невест. Из Пети сделался приятный молодой человек, из Оли вышла барышня, и жили они не по-настоящему, отдаваясь вполне интересам верхнего этажа. – В нижнем этаже, в квартире Бабковых, царствовал во всем и всегда полный беспорядок; только в маленькой каморке Федора Никитича было что-то похожее на порядок: он сам тщательно убирал свою дрянную постель, накрывая ее войлоком, старался «к месту» уложить какие-то свои две-три духовные книги, старался завести хоть какую-нибудь чернильницу, перо и проч. Он хотел отделать себе этот уголок, устроить его по-своему, потому что и жить и думать он продолжал тоже по-своему, робко покоряясь необходимой, как казалось, безалаберности в жизни его детей. В остальных комнатах – напри-

мер, в зале – на гвоздях, где висели картины, помещались огромные связки глаженных юбок; гладильные доски никогда не выходили из этой комнаты, на полу мокрота от ежеминутного sprыскивания разных кисей и блонд, на окнах лужи крахмалу; в комнате Петра, отгороженной ширмами в передней, – та же пыль и никаких признаков порядка: на круглом столе, покачивающемся на одной тонкой ноге, – и спички, и пепел, и свечка сальная, и рубашка... Все это объясняется тем, что ни Петр, ни Ольга почти не жили дома. Ольга просыпалась тогда, когда за нею сверху присылали барыни; начиналась суматоха одеванья, после которого она исчезала наверх на целый день; в зале оставались мятые юбки, рубашки, чулки; Петр, служивший без всякого успеха в какой-то канцелярии, по необходимости должен был вставать раньше; служба ему была нужна хоть бы для того, чтоб портной, зная, что он чиновник, сшил бы ему платье с рассрочкой платежа, а жил он на счет отца, который не отказывал ни ему, ни Оле, твердо веря, что все это нужно, потому что завещала покойная жена, – и ходил от этого по пяти лет в одном нанковом пальтишке. Проснувшись, Петр одевался насколько возможно франтовитее и шел в канцелярию. Дома оставался Федор Никитич и занимался собиранием в кучу грязного белья, брошенного где ни попало, загонял ногою под кровать разные тряпки и сор, стирал с окон и проч. В это время он выпивал понемногу, но тихо, незаметно; только один краснеющий нос говорил о том, что у него есть ка-

кое-то глубокое горе. Подвыпив, он боялся показать наружу свои глаза и со всем соглашался, что ему ни говорили, стараясь поддакнуть и кивнуть головой в знак согласия даже прежде фразы, которую ему скажут. Петр оставался недолго в своей канцелярии, с чиновниками которой он вел какую-то вражду: они называли его дураком, – он считал их дураками. В два часа и ранее он уже был на свободе и принимался за исполнение многого множества поручений, которыми наделяли его разные кузины; то ему нужно было забежать к m-me Дерюревой и объявить, что пикник отложен; то забежать еще куда-то за зонтиком, который позабыла третьего дни Марья Михайловна; то его делали распорядителем по устройству домашнего спектакля, что принимал он с крайне озабоченным видом в лице, но с тайным восторгом в душе, и бегал и суетился как угорелый – то декорации испорчены, то не готовы костюмы: везде нужно суетиться, кричать, повторять сто раз одно и то же. Он хлопотал и бегал до упаду; но зато, когда возвращался он, отирая запотевшую физиономию, в сонмище разных кузин, – все бросались к нему: сколько слухов, сколько новостей, новейших сплетен принесет он! Петр считал себя счастливейшим человеком и за то минутное внимание, которым дарили его наверху, – ломал ноги еще больше. А роль в этих домашних спектаклях доставалась ему самая роковая: или таинственного незнакомца, произносящего одно словцо; или племянника, получающего для полноты картины чью-нибудь руку и сердце при

конце пьесы; или, наконец, просто приходилось за кулисами представлять стук отъезжающего экипажа, гром, падение в воду... Петр не замечал, что такую же роль он играл и в обществе верхнего этажа; что им интересовались и нуждались в нем, как в самой ревностной ломовой лошади с облагороженными манерами, и награждали своим расположением потому, что в перспективе другой такой же лошади не предвиделось... Как компаньонка, умевшая переворачивать ноты, когда пела одна из дочерей Крюковой, – нужна была наверху и Ольга. Барышни, в свою очередь, брали ее с собою кататься, кавалеры смелее вступали с нею в сердечные разговоры, – и все, что было кругом, поощряло эти разговоры. Между тем время шло, крюковские барышни все больше и больше приближались к порою старых дев, – нужно было во что бы то ни стало спихнуть их на чужие руки, – отчего были предпринимаемы всевозможные искусственные меры для достижения этих целей: самый воздух верхнего этажа, казалось, был пропитан разного рода удовольствиями, любовью самую пламенную, жарко дышавшею отовсюду. Как декорации, как *народ* на сцене, нужны были здесь дети Федора Никитича – и не больше. Но ни Петр, ни Оля не считали себя народом; они сознавали в себе силы быть самыми бойкими действующими лицами в этом фантастическом балете и всей душой предавались той мишуре, которая до времени царила в жизни верхнего этажа. Все это веселилось, пело, жаждало удовольствий и удовольствий, – имея в сущ-

ности самые практические цели – как-нибудь пристроиться, отдохнуть, добиться законного брака, – чего вовсе не видали наши герои: целые дни и ночи толкались они здесь, забегая домой, чтоб произвести новый беспорядок переодеванием и снова исчезнуть. Оля забежит вниз, повернется перед зеркалом, вернет хвостом посреди комнаты, наблюдая при этом, волочается ли он, еще попляшет у зеркала, напевая в нос какой-то романсик, и вон...

– Что ж, весело было? – осмеливается спросить Федор Никитич...

А дверь уже хлопнула, и каблучки Олиных ботинок щелкают по каменной лестнице наверх.

Федор Никитич тихонько крикнет, скажет: «не слыхала» и идет в свою конуру или на крыльцо, к дворнику. Живет он по-своему: соблюдает посты, ходит к ранней обедне, покупает собственно для себя горох, рыбу... и когда несет такую покупку мимо сына или дочери, то старается прикрыть ее полою: чтоб не сконфузить детей своим мужичьим житьем. Но случается, что Петр, по неделям за недосугом не говоривший с отцом ни слова, из приличия спросит:

– Что это у вас?

– Раки! Да ведь какая дешевисть... Погляди-кось: крупнота...

Петр слегка нагибается над кульком, затягивая в то же время на шею тоненький галстук.

– Ей-богу! Непривиданная дешевисть... Третьего дни ка-

кая история из-за капусты вышла...

А Петр ушел в зало, Федор Никитич доскажет наскоро историю с капустой, тут же назовет себя дураком, подумает: «Ну до капусты ли ему?.. Нет, видно, из мужика барина не будет... всё с своими мужицкими разговорами» и проч.

В таком виде было семейство Бабковых, когда приехал домой Коля. Брат и сестра, как увидели его загорелую физиономию, мужиковатость и прочие мужицкие качества, так и покатались со смеху.

– Да это зверь! – кричала Оля, всплескивая руками...

– Алеут!

– Вампир!..

Федор Никитич тоже качал головою над безобразиями Николая, только из угождения образованным деткам, – но зато крепче брата и сестры целовал его загорелый лоб.

Безобразность приемов и манер Коли повергла брата и сестру его в совершенное отчаяние, и Коля, видя, с каким ужасом говорят они о той ломке, которая предстоит не только его голове, но и членам, видя наконец, что и Федор Никитич даже, вместе с братом и сестрой, чем-то особенно тревожится, глядя на него, – видя все это, сразу упал духом, считая себя чем-то чересчур мелким, чем-то чересчур плохим. Сознавая и ставя себя неизмеримо ниже и брата и сестры, Коля решил во всем положиться на них, ни на шаг не отступить от той дороги, которую покажут они ему. А дорогу Коле могли показывать только брат и сестра: Федор Никитич по-

прежнему не вмешивался в дела своих детей, считая обязанностью только изредка подтвердить словом «нужно», «терпи» то или другое распоряжение своих образованных деток.

Эти распоряжения по поводу преобразования нравов Николая начались тотчас же после его приезда и направлялись, конечно, к тому, чтобы сделать из него человека, пригодного к жизни верхнего этажа, так как без этого – полагали учителя – спасение погибшего человека, каким считался Николай, – признавалось положительно невозможным. С суровой начальной физиономией, с особенно холодными приемами зазнавшегося авторитета были преподаваемы Петром брату разные житейские, необходимые в предстоящей жизни правила: относились они к ногам и рукам, к походке, к необходимой услужливости и нисколько не касались головы преобразуемого субъекта. Та невыразимая серьезность, с которою говорилось об этом, с которою были показаны «затруднительные моменты в области походки» и проч., – вполне узаконяла в глазах Коли необходимость всей этой науки. Таким образом, в сущности-то одни только косые взгляды брата и сестры закупили все силы Николая в пользу этой необходимой науки. Но Николаю пришлось скоро увидеть и мучительно перенести на себе не косые уже, а подтрунивающие или совершенно холодные и поэтому еще более ужасные – взгляды того высшего общества, о котором с такой серьезностию и даже благоговением говорил Петр.

В один день было решено показать Колю наверху; дрожь и

робость прохватила его за целые сутки до визита, – именно с того момента, когда Петр объявил, что «завтра мы идем». Страх за ужасное неизвестное, ожидавшее его наверху, отшиб у него всякую сообразительность и словно ветром выдул только что набитые в голову правила. Петр, по всей вероятности, предвидел это, потому что перед самым отходом наверх счел нужным еще раз повторить внушение:

– Так помни, – говорил он, – локти... руки... Понимаешь, как я тебе говорил? Смотри же... За обедом хлеба как можно меньше... Не чавкать, боже сохрани... Madame Чикалдову (там узнаешь) не приглашай на польку: она в интересном положении, а ты до сих пор коленями... Не бери... Н-ну? Еще что? рук в панталоны не клади... Ни под каким предлогом... Ходи свободно!.. У вас, лютых зверей, есть привычка пробираться по стенке, совершенные воры... Ты этого не делай... Скверно!.. Шляпу держи – вот! Смотри сюда, вот! или так! Но отнюдь не держи сзади или не болтай между коленями... Пойдем.

Пошли. Все, начиная с господской лестницы, устланной ковром, и кончая самым паутинным разговором в господской гостиной, все это презрительно смотрело в оробевшие глаза Коли, уничтожало его, потому что открывало страшную бездну невежества, в которой сидел он, и вместе с тем невозможность сразу переродиться для новой жизни. Брат Петр, совершенно искренно предававшийся всей мишуре, которую пока еще в незначительных дозах выгружал перед

Колей, выполнял каждое правило своего кодекса с величайшей точностью, – а главное, серьезностью: поднимаясь по господской лестнице, он и сестра хранили глубокое молчание; остановившись перед зеркалом поправить галстук, Петр взглянул на брата таким ледяным взглядом, что Коля, приняв в расчет и слегка вытянувшуюся физиономию брата, понял ту беззащитность и беспомощность, которые ожидают его в течение целого вечера, и сердце его замерло в чьих-то ледяных лапах, стиснувших его со всех сторон. Вслед за братом Коля сделал первый шаг – и сразу почувствовал себя утонувшим в море всяких мук. Эти муки последовали тотчас же, как только Николай узнал невозможность двинуть ни рукой, ни ногой, полнейшую невозможность понимать хоть что-нибудь; ему оставалось одно: быть простым зрителем совершающейся со всех сторон суматохи, – но это было положительно невозможно; напротив того, с первого шага Николай невольно сознал себя предметом, на котором сегодня должны остановиться, как на диве каком-то, взгляды всех присутствующих. Петр, подглядевший горчайшее положение своего воспитанника, делал издали ему какие-то знаки, поднимая брови, вытягивая и вдруг судорожно искажая свою физиономию, тыкал пальцем, что-то объясняя и, видимо, стараясь на что-то указать, но ничто не помогало. Николай сознавал, что взгляды брата и еще более ужасные взгляды окружающей толпы ясно видят, что в шляпе его подложена бумага, в которой вчера принесли из лавки сальные све-

чи, что панталоны связаны сзади веревочкой и проч. и проч. Окаменелость его была беспредельна. Если ему и случалось хоть на минутку преодолеть ее, то и тогда все-таки ничего не выходило или выходило что-то очень глупое. Пробовал он вступать в разговоры, пробовал танцевать, – но результатом первых шагов были опрокинутые стулья, оборванные подола; результатом попытки к разговору было, как нарочно, самое упорное молчание или слово невпопад. Он снова каменел, и снова вдруг вставал, принимался пристальнейшим образом рассматривать какую-нибудь картину на стене, – и ничего не видел, ничего не понимал в ней. Пробовал он смеяться какому-нибудь чужому слову, чужому рассказу, автор которого всеми мерами старался показать или дать заметить слушателям, что вот тут-то или тут он сказал самую смешную штуку, – выходило тоже неудачно: смех вырывался неожиданно, заставлял оборачиваться других, что было невыносимо для Николая, который и сам испытывал от этого смеха какое-то неприятное ощущение, нечто вроде испуга. Под конец вечера Николай съехал на стуле к двери и вступил в беседу с какою-то ветхой старухой; разговор их касался самых стариковских предметов, так что Николай невольно краснел за себя, – но при всем том положительно не мог бросить и этого разговора; кроме старухи, он не видел здесь ни одного человека, речь которого он мог бы понимать. Все испытания вечера развили в нем желание подделываться, стараться угадывать, что именно нравится дру-

гим, для того чтоб поддакивать им и таким образом приобрести какое-нибудь внимание этих других. Даже в беседе со старухой незаметно присутствовало это желание – и старуха действительно составила о нем самое выгодное мнение. – Несмотря, однако, на это, Николай возвращался домой в самом грустном расположении духа. Неудачи, которые постигли его на этом роковом испытании, оскорбляли и унижали его. Брат и сестра, видевшие, что все старания их попораны самым безжалостным образом, тотчас переменили тон: в отношениях их воцарилась холодность и полное пренебрежение. Петр сказал брату равнодушнейшим тоном длинный монолог, в котором упомянул о своих трудах и заботах в пользу его, сумел вставить раза два-три фразу: «я ничего не жалел...», «все, что я мог...», «я пожертвовал...» и проч. и проч., и заключил тем, что отказывался впредь от всяких забот о нем; «делай, как знаешь, но я вижу, что мы не товарищи»... Сестра почему-то просто надулась на Николая, как будто он ее чем-то жестоко оскорбил. Даже Федор Никитич счел нужным вразумить Николая, основываясь на суровом тоне Петра, на его вздохе при словах «я сделал все» и проч., на общей, сразу воцарившейся между детьми холодности. Он прямо обратился к Николаю с такими словами:

– Что это ты, Николай, там натворил? а?.. Это, братец, ты оставь... Мать об тебе еще когда горевала... Это надо кинуть... Как можно... Конечно, трудно... Что говорить... Дело незнакомое... Ну, надо терпеть... – и проч.

– Я сделал все! – уныло прибавлял Петр. – Н-но!..

В этом «но» Коля видел опрокинутые стулья, оборванные подолы, ненужный смех, дружбу со старухой и проч. и проч. И такого рода «но», такого рода рассуждения всей семьи – потихоньку подготовили тот момент, когда Коля искренно, как и Петр, сознал необходимость жизни такой, какая господствует у обитателей верхнего этажа, и решился ухлопать все свои юношеские силы на трудную работу изучения ее. Силы эти здесь тратились в той же самой мере, как если бы тратились они и на полезное дело, потому что тратились с преданностью делу, – а дело это было очень пусто и плохо. Задача Коли состояла в том, чтоб отшлифовать себя, дать себе такой наружный вид, который бы не мозолил чужих глаз, а для этого действительно ему пришлось заботиться о походке; о манерах. Ему предстояло преодолеть трудности разговора, выучиться тянуть его по целым часам так, чтоб и разговор вышел, и интерес был в нем какой-нибудь, и вместе с тем чтобы по возможности не было сказано ничего. Ради этого ему пришлось задолбить по книге несколько разговоров, относящихся к «погоде», «услужливости», к разговорам за обедом, за чаем, утром и проч. Приходилось набить свою голову разными мелкого содержания анекдотами, так как он видел, что самые пустейшие и пошлейшие из них проходят не без внимания, в особенности между женским полом. Больше других фраз ему приходилось употреблять фразу: «о да, я с вами совершенно согласен», или: «именно,

именно... превосходно, прекрасно, какая богатая мысль» и проч. и проч. Коля видел, что иные, имея под рукою только эти фразы; умеют безбоязненно обделывать в кругу верхнего этажа свои, иногда практические делишки.

Как только брат и сестра увидали, что Николай пришел к ним с повинною головою, тотчас же снова были приняты самые деятельные меры к образованию его. С этих пор в жилище Бабковых воцарился какой-то усиленный во сто раз хаос; тут шли уроки походов, разговоров, давались различные наставления, повторявшиеся по сту раз, и проч. и проч. Вообще шла такая же страшная суматоха, как бывает за кулисами перед поднятием занавеса. Федор Никитич и не показывался сюда, если же ему и случалось выйти посмотреть, что такое делают его детки, – то он никак не мог удержаться, чтоб не подумать: «Вот ежели бы это нашему брату показать – ведь подумал бы, что народ взбесился, с ума спятил... Ей-богу».

Но вслед за этим он, не менее поспешно, слегка вздохнул, присовокупляя свое суждение о том, что «нужно...» – «Конечно, что говорить... выходит оно как будто и беспутство... а все надо, все пригодится: что будешь делать!» Думая так, Федор Никитич молча созерцал нужную, но бессмысленную науку и еще более убеждался в своих суждениях, видя, с какою серьезностию, с какою преданностию убивается образованный сынок его Петр над неуклюжими ногами Николая и как он неустанно надрывает свою грудь, давая Николаю, примерно, такого рода наставления относительно танцев: дело

происходит в маленьком зальце Бабковых. Петр стоит среди маленького зальца и, хлопая в ладоши, произносит:

– Но, господа... Становитесь, становитесь!.. Оля! оставьте, пожалуйста, хоть на минутку зеркало... Николай! ради бога! возьми мой платок... Оботри пальцы, – видеть не могу, – как это ты до сих пор не поймешь, что опрятность... Начинать... Ну-с, скорей... У меня за даму вот стул... Стали? Начинать... Тра-ра-ра... Сюда, сюда, Николай, левой, левой, ради бога... Стой!!! Я тебе куда сказал? Куда я тебе сказал? Что ж ты, ослеп?.. (Молчание и упорный вопрошающий и в то же время карающий взгляд.) Сначала! Тра-та-та... Так, так, так... Куда?! Куда тебя на стену несет... Оля! дерни его за рукав! Зачем ты головой вниз? Ты не в воду ныряешь!.. Пойдите на минутку; голову нужно держать: вот!.. А не так... Что это такое? Нужно вот, прямо, свободно... Ну вот... Ведь вот умеешь... Нет, это свинство от природы... Начинай!.. Та-ра-ра, – и т. д. и т. д.

Словом, мудрая наука была на полном ходу. И если ко всем этим усовершенствованиям прибавить еще услужливость и лакейство, удвоенное против лакейства Петра, то будет совершенно понятно, почему скоро Петру приходилось слышать:

– Коля-то ваш? Каков?.. Вы Петр Федорыч, теперь – пас перед ним... Ей-богу. Молодец такой выходит... – и проч.

IV

Усовершенствование Николая шло все успешнее и успешнее.

На свадьбах сперва одной, потом и другой дочерей госпожи Крюковой он имел полную возможность блеснуть знанием и манер и разговоров, светских обычаев и проч. и проч. Но вслед за тем вдруг изменяются обстоятельства: в залах у госпожи Крюковой с выдачею ее дочерей замуж – нет уже ни танцев, ни гостей, ни веселья; заметна везде пустыньность: дочери уехали с мужьями, по лестницам поднимаются не разодетые кавалеры и дамы, а кашляющие и охающие приживалки, странницы и странники; запах грибного супа и лука поборол всяческие, царившие до сегодня, ароматы, и вообще вся фигура так недавно веселого и певшего с утра до ночи дома – насупилась, помрачилась... Из Бабковых имел доступ наверх только Федор Никитич. Молодая половина Бабковых села, как рак на мели. Кроме того, что им решительно не о чем было говорить и думать у себя дома, они сразу сознали, что никто, кроме Крюковых, и не нуждается в них. Старые знакомые из высшего круга, снисходительно и нехотя раскланиваясь с ними, нехотя приглашали зайти и этим ограничивали всякие отношения к ним. Потихоньку сообразив про себя, что «мы в дураках», молодые Бабковы стали почему-то смотреть друг на друга с пренебрежени-

ем, отчего холод и некоторая вражда в отношениях их друг к другу еще более усилились. В жизни не было им никакого дела, они не имели за плечами, про запас, ничего такого, взамен чего действительная, не обставленная декорациями жизнь, с трудом и нуждами, уделила бы что-нибудь и свое, поменялась бы с ними: они так воспитали себя, что привыкли жать готовое, и никогда не допускали мысли, что за это надобно будет отдать. Но это готовое теперь было недоступно, и если недоставало духу помириться с той трудовой дорогой, которая нужна была им, то приходилось рассчитывать на простоту людскую и если не запускать прямо руки в чужой карман, на удовлетворение своих «не по чину» развитых потребностей, то все-таки паразитствовать, то есть все-таки брать чужое, жить на чужой счет и выискивать случая для такого рода жизни. Разыскивая такого случая, Николай как-то узнал, что в N, в Зеленой улице живет вдова купчиха Зайкина, на которую можно иметь кой-какие виды относительно законного брака, так как купчиха после смерти мужа, оставившего ей небольшой капиталец, решительно не знала, зачем ей теперь жить, о чем думать, кроме мужа, тем более, что после того, как она осталась вдовою, ей и бояться некого было, стало быть, жизнь была пуста до высшей степени. Николай, сообразив это дело, завязал лучший галстук, придал особенный блеск сапогам и особенную осанку плечам, слегка приподняв их и вдвинув руки в карманы пальто, взбил отчаянно белобрысые волосы и, прижав их накрененной набок

шляпой, тронулся в путь. Каково же было его удивление, когда на узеньком тротуаре, пролегавшем напротив окон Зайкиной, по другой стороне улицы, – медленной поступью выступал брат Петр. Шляпа его была точно так же надвинута на ухо, белобрысые усы превращены в две стрелы, руки точно так же сидят в карманах пальто, и плечи приподняты. Невыразимо медленно подвигаясь вперед и как-то особенно при этом вывертывая ноги, он не спускал глаз с окон Зайкиной, заставленных цветами; по временам он останавливается, откинув одну ногу назад и желая хорошенько разглядеть чрез освещенное солнцем и поэтому залитое светом окно, – не она ли, Зайкина, прошла там, – нагибается то на один бок, то на другой и, переглядев, так же медленно идет дальше, круто и ухарски поворачиваясь на углу улицы.

– Ты зачем? – испугавшись встречи с Николаем, спросил Петр.

– Да так...

– Как так? Ты куда идешь?

– Да просто так, гуляю...

– Ты здесь хочешь ходить?

– И здесь буду и вообще где придется...

– Ты, брат, пожалуста, отсюда иди...

– Это почему? вот странно...

– Вовсе не странно... А просто... Я понимаю, зачем ты хочешь тут гулять, так я тебя считаю нужным предупредить, что это напрасно...

– Что такое?

– Вот те что такое... Тут уж дело сделано...

– Да мне-то что?

– Ну и ступай... Дай мне, пожалуйста, хоть раз свободно вздохнуть. Как будто тебе нет другого места; вон на Дворянской – Оглашенова, тоже вдова, Трубина, Плешавины девицы, – мало ли... Ходи там, а здесь предоставь дело делать мне одному.

– Сделай милость, сколько угодно...

– Я сам начал, сам кончу, тем более, что дело на ходу...

Пойди, ради бога, отсюда.

– Зачем я пойду?

Петр несколько времени молча смотрит на брата и громовым голосом произносит:

– Так ты решительно не пойдешь?..

– Я буду здесь гулять, тебе какое дело?

– Но если я тебя прра-ашу?

– Я тебе не мешаю... Ты гуляешь, и я гуляю...

– Так позволь тебе сказать, что ты – подлец.

– Ты сам подлец...

Петр делает крутой поворот на каблуках и исчезает за угол.

– Это так не кончится! – кричит он, высовывая из-за угла голову и кулак. – Я тебе покажу... Мы с тобой встретимся еще раз, только не так.

– Ладно! – произносит Николай и чувствует, что теперь

почва под ним тверда. В той же позе и с теми же приемами он начинает лавировать мимо окон Зайкиной; закачалась и поднялась стора, какая-то женская фигура показалась в окне. Николай пошел еще медленнее, еще пристальнее вглядывался в физиономию купчихи и наконец сделал ручкой.

– Милостивый государь! – раздалось сзади его, и вслед за тем кто-то кашлянул. Николай обернулся: перед ним стоял офицер с нафабранными усами, с остатками пудры и искусственного тусклого румянца на щеках.

– Что вам угодно?

– Сколько я мог заметить, вы изволите рассчитывать на успех в этом деле?... так я считаю нужным предупредить вас, что это напрасно...

– Как?

– Так-с... Здесь дело уже сделано, и вы будете только мешать... Поэтому настоятельно прошу вас удалиться отсюда.

– Вот прекрасно! Если я хочу здесь ходить, – кто мне запретит?..

– Я-с! вот кто!

– Это каким образом?

– А таким образом, что сию минуту с будочниками отправлю вас... Извольте идти... Мало вам места на Дворянской: Оглашенова, Плешавины, Трубина... Отправляйтесь туда.

– Однако вы не кричите... – отступая, говорил обиженный Николай.

– Нечего тут рассуждать... Если хотите, мы встретимся где-нибудь еще, но отсюда рекомендую удалиться сейчас же. Слышите?..

– Чорт вас возьми, – поворачивая за угол, шопотом говорил Николай, желая отделаться от офицера, напиравшего на него грудью...

– То-то, с богом! – заключил офицер, смело ступая на завоеванную дорогу.

Николай повернул за угол, встретил целую толпу разных франтов, таких же, как и он, с такими же приемами и осанкой, которые, испугавшись грозного офицера, дерзости которого они слышали, воротились с места свидания, куда направлялись они, рассчитывая на ту же Зайкину, – и в раздумье шли, кто по тротуару, кто посередине улицы. Все они шли, казалось, куда-то в разные стороны; но на углу Дворянской улицы встретились снова; вследствие этого снова слышались разного рода объяснения: «если вы желаете интриговать Оглашеннову, то это напрасно», или: «предупреждаю вас, что Плешавины положительно недоступны, кроме меня... Что делать, а поэтому – не все ли вам равно отправиться ходить в Горшковом переулке – против Резановой?», или: «вы, кажется, хотите... так не беспокойтесь, – они уехали в деревню», и проч. и проч.

Когда Николай появился на углу Дворянской улицы, то увидел, что против окон Оглашеновой – медленной поступью скитается брат Петр... Он видел, как к Петру подошел

какой-то фронт, как между ними произошел какой-то разговор, начавшийся со стороны подошедшего вежливым поклоном и легким приподнятием шляпы и кончившийся потрясанием кулака в воздухе... Все это видел Николай и не пошел дальше, предпочитая воротиться домой и предвосхитить, по крайней мере, ужин. – Вследствие этого предвосхищения вечером, по возвращении Петра, между нашими аристократами происходит такой разговор.

– Ты опять все щи сожрал? – говорит Петр, стоя с пустым горшком в руках перед Николаем, который закутался с головой в одеяло.

Молчание.

– Я спрашиваю тебя: ты сожрал щи?..

– Что ты орешь? – кричит что есть мочи Николай, высывая голову.

– Ты щи сожрал?

– Чорт тебя задери совсем со щами.

– Ска-атина, брат, ты...

– Сам ты животное.

– Мужик!

– Лакей!..

– Поговори... Поговори, любезный... Я те покажу... – И проч. и проч.

Таким образом, молодые Бабковы все были обречены на вековечное скитание. Оля через полгода попала куда-то в компаньонки: с ней ездили в ряды, поручая поддержать по-

купки, ей поверялись тайны сердца, потому что она, как специалистка по этой части, могла давать самые рассудительные советы.

– Душечка, Оленька, скажите мне, ради бога, отвечать ли мне Аркадию...

– Он писал вам?

– Три письма.

– Отвечайте.

– Что вы говорите?

– Отвечайте... Непременно... Но два, три слова... Даже лучше всего будет, если вы напишете просто: «Что вы хотите от меня? Я вас не понимаю...»

– В самом деле?

– Уверяю вас... Только сделайте вид, что вы не понимаете его искательства...

– Да-да-да. Непременно... Ах, как мне вас благодарить... – и т. д.

Но вдруг оказывалось, что этот какой-нибудь Аркадий сам состоит в переписке с Олей и пишет пламенные послания к другой, с целью отвлечь от Оли подозрения. Другая превращалась в зверя, затевался скандал, – Олю изгоняли, и она кое-как перебивалась дома, впредь до нового знакомства, до новой возможности объясниться с обожателем какой-нибудь неопытной и потому робкой в делах сердца женщины и потом вследствие успеха попасть в друзья, в компаньонки и проч. Петр в последствии времени как-то поза-

терся в кругу более низкого слоя, в кругу своих чиновников-сослуживцев, и немного погодя женился на дочери архивариуса, получив некоторую возможность промотать самым изящным образом полученные в приданое, долгим трудом скопленные сотни, что он и исполнил с полным совершенством, и, оставшись без гроша, несмотря на свое светское образование, – иногда посягал на косу супруги, которая поэтому заливалась горячими слезами и считала себя погибшей на веки веков. Николай оставался без пристанища. Ему никак не удавалось устроить себе даже и такой карьеры, как Петр, и поэтому ему оставалось положиться во всем на судьбу: Бушующее житейское море швыряло его из стороны в сторону; иногда он невыносимо и искренно страдал, – но внешность, внешний карикатурный вид искажал в глазах постороннего человека и страдания его, которые вместо сожаления возбуждали или смех, или то безразличное состояние, с которым посторонний человек смотрел бы на щепку, уносимую бунтующим морем: не только сожаления, но и простой мысли о том, что, мол, упала эта щепка и проч., – не приходит в голову. Точно так же безразлично относились и к Бабкову.

Страдая без постороннего сожаления, – Бабков был предоставлен исключительно случаю, который бы давал приют его ненужным в действительной жизни знаниям, его умению рассказывать армейские анекдоты с клубничными тенденциями, умению занимать дам, растягивая до невероятной

степени разговор на тему: «что долговечнее – дружба или любовь?» и проч. и проч. Настоящая жизнь и всякий, самый ничтожный труд отвернулись от него – он и писцом даже не мог быть потому, что писал безграмотно и «как курица лапой»; оставалось искать таких же уродов, как и сам, таких же искалечивших свои потребности людей. Как ни редки теперь эти случаи – эти люди, но все-таки встречаются и они.

* * *

В числе наших уездных персонажей, обедневших вследствие непредвиденных событий, есть особая порода, которую можно назвать шатунами. Желательно им и жить по-прежнему – желательно и от века не отставать. Первое оказывается невозможным потому, что существует третье: лень въевшаяся до мозга костей, сибаритство и крайнее непонимание, в чем дело. Второе невозможно потому, что существуют первое и третье. Люди эти поддаются влияниям то той, то другой стороны. Перемена этих влияний слишком быстра, вследствие чего шатуны эти терпят вдвое: за дело не принимаются, думая «махнуть рукою», – и рукою не махают, с минуты на минуту думая взяться за дело. Ни того, ни другого не делается, и, шатуны вечно с опущенными руками, стало быть, с явным убытком, если ко всему еще прибавить ту душевную пустоту и смертельную скуку, которая обуревают их ежеминутно: в жизни этих господ нет ни отчаянного ку-

тежа – на последние, ни дельной работы, – а царит какая-то непроглядная мгла, переполненная всяческих мук. К числу таких шатунов принадлежит дальний родственник, какой-то троюродный внук Крюковой, молодой помещик Клубницын, остановивший неожиданно на улице Бабкова, с которым они встречались на вечерах у бабушки.

– Что вы здесь делаете?

– Скучаю, батенька! – фамильярно говорит Бабков.

– Поедемте ко мне в деревню...

– Куда же это?

– Да вот в Сосновку... Поедемте?..

– Пожалуй... Я готов...

Приятель заезжает в гостиницу, закусывают, после чего Клубницын небрежно говорит: «за мной», и выходят на крыльцо.

– Иван! – кричит Клубницын.

К крыльцу подъезжает тройка лошадей, с выдавшимися костями от худобы, с полинялыми лентами в косах, с кучером, на лице которого нельзя не заметить угрюмости и думы, несмотря на плоскую шляпу с павлиньим пером, надвинутую как-то ухарски на самый лоб. Небольшая коляска, в которую садятся наши приятели, – ветха и разбита; одна рессора окручена веревками, и какие-то винты внутри ее очень стучат и дребезжат, особенно если экипаж едет по мостовой; это дребезжание винтов, эта убогость и в экипаже, и в costume кучера, и вообще во всей обстановке Клубницына от-

ражается на его лице каким-то мрачным облаком, какою-то тупою задумчивостью. Выезжая в поле, Клубницын слегка успокаивается и забывает только что сейчас данное себе слово починить коляску и нарядить кучера как куколку. Бабков понимает, что теперь, в момент этой дорожной молчаливости и задумчивости, – он должен как-нибудь высказать Клубницыну ту пользу, которую приобретает тот, взяв его с собою; вследствие этого он вдруг оживляется и извергает на своего компаньона Клубницына целые вороха различных анекдотов, очень живо рассказывает только что случившийся скандал с актрисой, которой какие-то шалуны подпустили воробьев, и проч. Клубницын сначала слушает все это с полуулыбкой – потому, что внимание его отвлекают эти поля, тянущиеся черной полосой, этот встретившийся мировой посредник, непоклонившийся мужик и проч. Во всем этом Клубницын видит какой-то ужасающий знак вопроса, на который он решительно не имеет возможности дать хоть какой-нибудь ответ. Но потом рассказ Бабкова, изобилующий картинками самого шаловливого свойства, постепенно сглаживает неприятное впечатление этих полей, мужиков и посредников, и Клубницын весь отдается во власть веселых пейзажей, выгружаемых целыми кушами Бабковым. Клубницын остается довольным, что взял с собою такого разбитного гостя: не придется скучать в деревне – пусть болтает. Клубницын рад, что ему есть случай забыться. Это тайное желание забыться можно объяснить тем множеством всяко-

го рода неудач, которые в настоящее время осаждают непривычную к размышлениям голову Клубницына и рождаются вследствие отсутствия хоть каких-нибудь крупниц характера.

Подъезжают приятели к поместью Клубницына, и все теперь господствующие в деревенской жизни передряги отражаются и говорят о себе на каждом шагу: когда-то богатое поместье – носит теперь следы быстрого разрушения: с каменных столбов у ворот кто-то стащил каменные шары; на их месте торчат железные спицы и растет трава; травую зарос весь двор, трава покрыла собою дорожки и куртины цветника, еще недавно разбитого перед подъездом, и теперь на главной клумбе, против крыльца, сохранившего кое-что от прежней изящности своей, – стоит водовозка, протянув короткие оглобли с веревочными тяжами. Самая фигура дома постарела и обветшала как-то вдруг, как стареют люди, *вдруг* переменявшие разгульный образ жизни на степенность и солидность. Не заставленные цветами и лишённые занавесок окна, палка над бельведером, с обрывком веревки вместо флага, стены, ободранные до кирпичей, и колонны, кое-где облупленные до тоненьких пластинок драниц, – все это грустно действует на присматривающегося к жизни человека, потому что говорит о замирании этой жизни. Сад – безо всякого присмотра, мостики, перекинутые через канавки, устроенные собственно ради художественности картины, – кое-где прогнили и без перил. На противоположном, поднимающемся от сада холме вместо парка, недавно красиво раскинуто-

го на нем, — торчат только голые пни, и глазу, привыкшему к художественной дикости столетних деревьев, приходится наткаться теперь на дрянные, полуразвалившиеся мужицкие избенки и проч. Клубницын как-то смутно понимает, что до тех пор у него будет пусто в кармане, пока этот мужичий вид будет носить признаки живописности: то есть эти дыры в крышах, эти покачнувшиеся и покосившиеся стены и проч. и проч. Понимает он также, что едва ли с его характером когда-либо будет можно заткнуть щели в мужичьих крышах, выпрямить все покосившееся и таким образом не обидеть и себя. Будучи почти уверен в противном, он уверяет и себя и других, что парк срублен для того, чтоб *очистить вид*, хотя и знает, что произошло это от совершенно посторонних причин, ради тех же стеснительных обстоятельств, которые заставляют ухаживать за мещанином Кузьмою Прокофьевым, почти безвыездно обитающим в бельведере у Клубницыных. Кузьма Прокофьич человек очень тонкий: он очень хорошо понимает, что барин (Клубницын) в теперешнее трудное время никаким родом не может сообразить: как быть? Поэтому он считает выгодным сам помогать ему в этом: он достает ему деньги, закладывает вещи, скупает понемногу луга и проч. и проч. Все это Кузьма Прокофьевич делает с огромной выгодой для себя, попросту говоря — грабит Клубницына, но грабит так изящно, так художественно, что Клубницын решительно не променяет его ни на кого: Кузьма Прокофьич обделаает всякое дело тихо, без огласки,

роняющей во мнении околodka достоинство Клубницына, и прямо принесет ему чистые денежки; причем самому барину не придется двинуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем, а уж дело сделано, и вот есть деньги. А это Клубницын ценит дороже всего, хотя бы ему приходилось получать только двадцатую часть против того, что он терял. Главное в Кузьме Прокофьевиче – это отсутствие всякой мужичатины и, напротив того, деликатность, умение дать «не заметить». Кузьма Прокофьевич до сих пор величает господ Клубницыных знатью, известными помещиками, и даже в тот момент, когда ему хорошо известно, что в целом доме этих знатных господ нет гривенника и неизвестно, когда еще будет, – он с высоким благоговением в лице пьет чай в самом углу комнаты, около двери, и не упустит случая вставить фразку вроде: «... вот тоже, опять, Быковы – знатные господа, примерно хоть бы и ваша милость». Клубницын понимает все это и сам и все-таки ценит эту услужливость, которая дает ему некоторую возможность жить попрежнему. Словом, дела Клубницына идут плохо: в хозяйстве полнейшее расстройство, дома полнейшая пустота и отсутствие всяких интересов под гнетом все более и более наваливающейся тоски. И в этом-то жилище Бабков не был лишним, принося пользу как третье лицо между двумя недовольными; был полезен, не давая возможности проявляться этому недовольству, отвлекая неприятные столкновения, могущие произойти вследствие него. А недовольными были Клубницыны: муж и жена. Оба они бы-

ли еще очень молодые люди, привыкшие к постоянно разнообразной жизни, исключительно направленной к достижению удовольствий; очутившись теперь в крайнем положении, они начали сваливать вину настоящих запутанных дел и собственной пустоты друг на друга; муж говорит, что жена не умеет поддержать его в трудную минуту; «другая бы, – прибавлял он, – то-то и то сделала бы и придала бы мужу энергии»; а жена толкует, что «муж виноват, что не обращает на нее, слабое существо, никакого внимания, не хочет поддержать – гибни, мол, лети в бездну», «другой бы...» и проч. Вследствие такого рода отношений супруги дулись. А являлся Бабков, начинал что-нибудь болтать, и оба супруга смеялись или ахали. Бабков имел способность целые часы проводить, например, за альбомом фотографических карточек и трещал при этом нескончаемо; было ему темою все: фигура носа на портрете, поза, глаза, выражение лица и проч. По этому поводу припоминались разные сцены, когда-то слышанные, столкновения, случаи и проч. и проч. Время в этой болтовне проходило незаметно. Начинала m-me Клубницына играть на фортепьяно, Бабков рассыпался в похвалах и, подглядев, что похвалы эти действительно находят уголок в сердце барыни, – принимался понемногу ухаживать за ней, не рассчитывая на какой бы то ни было успех и действуя только ради доставления приятного другим, на этот раз – барыне. – Бабков имеет в глазах Клубницыных еще то важное значение, что иногда его для собственной *потехи* (же-

вание которой, вместе с некоторыми другими, тоже барскими, странностями, сидело во всей своей силе в этих молодых представителях старого поколения) – можно было *третировать* как угодно: Бабков будет отшучиваться, выйдет комедия, а время и тоска уйдут хоть на минутку. Третирование Бабкова начиналось обыкновенно очень скоро после привычки к нему, после того, как все занятные его анекдоты были пересказаны по два, по три раза и надоели. Жертвою насмешек Клубницына (а иногда даже и Клубницыной) Бабков бывал особенно в то время, когда в обществе их находился посторонний, четвертый, или вообще были посторонние люди, гости. Тогда над Бабковым или просто хохотали, если гость был разбитной человек, или делали ему всякого рода неприятности, подлости, – задавая, например, такие вопросы: «А что, Николай Федорович, милостивейший государь, не знаете ли, как дороги теперь пощечины?» Бабков отшучивался, как мог; и в этой жизни, лишенной, из-за пустоты желудка, всякой свободы, терял все *свое*, излыгался, принужден был и врать, и надувать, и фарсить, лишь бы не быть выгнанным в шею. Жалкое было его существование!

Шло, однако, время – надоел, как собака, Бабков – и при нем, как и без него, попрежнему начинали дуться друг на друга супруги. Попрежнему подходила к ним в страшном образе душевная пустота, наряженная в нищенские лохмотья, – оплеванная и поруганная. Бабков предпочитал сидеть, лежать и курить в своей комнате и как можно реже показы-

вать свой нос в комнаты Клубницыных, так как весь запас разнообразных сведений, которыми он был так пленителен в первое время, – истощился, и ему раз уже было сказано: «Отстаньте, ради бога, с вашим вздором». Бабков и Клубницыны тосковали и вздыхали невыносимо; весь дом носил оттенки какой-то ужасающей мрачности: в верхнем этаже, где никто не жил, ветер стучал рамами и дребезжал стеклами, нанося пыль на кой-какую оставшуюся здесь мебель; в нижнем – в жилище Бабкова и Клубницыных, царствовала злая тишина; не слышно было даже звука фортепьяно, изредка шумело платье, и если раздавалось слово мужа или жены, то раздавалось оно со злостью, хотя бы состояло только в вопросе: «где платок?», «дайте воды», и проч., и проч., и проч. Все, казалось, затянулось в какой-то страшно тугий узел, который развязать нет никакой возможности, – а надо разрубить.

– Решено! – вскакивая со стула и швыряя на пол книгу, с беспредельным одушевлением восклицает Клубницын, – у нас – бал!

– Бабков, бал! – высовывая голову в дверь к Бабкову и снова исчезая, извещает он...

– Кузьма Прокофьич! – продолжает Клубницын, впопыхах вбегая в бельведер. – Выручайте! Завтра – бал... что хотите!.. Вы просили у меня на пять лет арбузовские сенокосы – возьмите... Только, ради бога...

– Очень хорошо-с...

– Распорядитесь: что нужно... Музыка, все... все... самое лучшее – берите все... Не могу...

– Очень хорошо!

– Душка! – ловит Клубницына Бабков в сених. – Позволь тебя расцеловать... Гениально!..

– Что, в самом деле, из-за чего я себя мучаю?

– Дай мне твои щеки... щеки, понимаешь ли...

– Отстань... Измучился, как собака...

– Ну, зачем это, Пьер? – с радостным, плохо скрываемым волнением спрашивает жена.

– Низачем, – впопыхах бросает ей Пьер.

И воцаряется во всем доме какая-то оживленная суматоха. Особенно радостен и оживлен Бабков: он то принимается вальсировать по комнатам, подпевая: «ля-ля-ля», то вдруг останавливается, обнимает Клубницына, то бросает его и, увидев в окно отъезжающего в город Кузьму Прокофьева, – с неистовством стучит в стекло и потом, растворив окно, кричит остановившемуся Кузьме Прокофьеву: «Не забудьте карты, мелки и прочее...»; от окна Бабков бросается снова к Клубницыну, потом снова вальсирует и т. д. Вечером Бабков заперся в своей комнате и долго сидел, разглядывая свое платье: тщательно старался он закрыть и спрятать неблагоприятные места вроде дырок, пятен; долго за-полночь из-за запертых дверей Бабковой комнаты слышалось шуршание платяного веника и какой-то особенный присвист, происходивший оттого, что Бабков иногда поплеывал на щетку и на

руку, чтобы лучше усовершенствовать свой туалет. Ложась спать, он напудрил свою физиономию пудрой из коробки такого вида, какие встречаются в самых захолустных провинциальных цирюльнях; тщательно заклеил какими-то черными кружками большие угри, появившиеся от худосочия на его физиономии, и притом на самых видных местах, обвязал голову платком и тогда только лег спать, стараясь при этом выбирать такую позу, чтобы ни пудра, ни пластыри не слезли.

Вместе с обитателями дома Клубницына – оживилась и самая фигура дома. На другой день по длинным коридорам неслась усиленная, давно небывалая стукотня ножей, – лакеи сновали взад и вперед, и вообще на всяком живом существе, бывшем здесь, можно было заметить следы истинной радости, отдыха. Часов с двенадцати к крыльцу подкатывали коляски, кареты и другие экипажи; вылезали из них дамы, девицы, кавалеры... все это шумело, хохотало, было счастливо, имея возможность встретиться с недавним другом – старым привольем жизни. Бабков превратился весь в непрерывное движение: в одно и то же мгновение его можно было встретить и в саду с дамой, говорящего ей: «о, дда, я с вами совершенно согласен!», и в кухне – где он, с вытянутым вперед лицом и вытаращенными глазами, кричал: «скорей! скорей, ради бога!», и в передней, из которой он указывает лакею с подносом – с кого нужно начинать, и т. д. Только некоторые помещики, из породы образумившихся, были как-то серьез-

ны: разверстание², издельная повинность³, съезды – не сходили у них с языка, что тупым ножом резало Клубницына по сердцу, вследствие чего он еще громче и чаще начинал выкрикать разные тосты, еще более оживлял оргию.

Вечером в саду горели фонари, – и столетние деревья, окрашенные снизу разноцветным светом, казалось, улыбались, улыбались почти детскою улыбкою... На дорожках, на скамейках, под кустами, в темных аллеях – сидел, и ходил, и шептался народ: впечатление целой картины снова воскресшего мертвеца было как-то слишком ново, слишком необыкновенно и вместе с тем слишком печально... Толпившийся под окнами народ дивовался, как гуляют господа. Бабков носился в вихре разнообразнейших вальсов. М-те Клубницына, в антрактах между фигурами контрданса⁴, любезно ожив, кокетничала с каким-то франтом, грациозно отмахиваясь веером. Сам Клубницын под конец вечера начал наряжаться каким-то шутом: представлял пьяного немца, пьяного сапожника, вымазал рожу мукой, что навело старого дворецкого на самые мрачные мысли: наблюдая из темной передней за безобразиями, которыми щеголял барин, старик вздыхал, качал головою и шептал: «Господи, господи! Что ж

² *Разверстание* – здесь: размежевание земель между помещиками и крестьянами после реформы 1861 года.

³ *Издельная повинность* – принудительные отработки крестьян за наделы земли, полученные ими в 1861 году.

⁴ *Контрданс* – старинный танец типа кадрили.

это такое будет!..» А барин еще пуще бесновался, и трезвого человека беснование это хватало за сердце.

Пир продолжался до белого света... – Гости начали разъезжаться часу в четвертом вечера на другой день. Чем больше пустели комнаты, чем больше выступал беспорядок, наделанный вчерашним днем, тем более жуть прохватывала Клубницыных; еще страшнее, еще мертвеннее казалась здешняя жизнь, еще ближе и в более ужасном образе подходил к ним какой-то ужасающий и гибельный момент. Жена Клубницына не устояла против этого налегавшего отовсюду ужаса – и с каким-то страхом произнесла:

– Пьер! Я не могу... Я не могу здесь оставаться...

– Едем... едем, – торопливо отвечал Пьер, которому тоже приходилось невмоготу.

– Ради бога, скорей, скорей... Я не могу ни минуты... Мы к тетушке.

Бабков, как вежливый кавалер, стоит на крыльце и провожает гостей: он подсаживает дам в экипажи, с особенною тщательностию укладывая их подолы и кринолины, захлопывает дверцы и кричит кучеру: «пашел!» Дамы мило кивают ему головками и шепчут: «мерси!» Одной он даже слегка пожал руку, другой послал крошечный-крошечный поцелуй и был крайне счастлив.

– Пьер! Пьер!! – вдруг вскрикивает он, видя, как с быстротой молнии на тройке уносятся Клубницыны.

Пьер не обращает внимания и не слышит; тройка летит.

– Это, однако, чорт знает что такое: уехать... не сказать ни слова...

Бабков обижен...

– Я-то как же?.. Семен! Барин куда уехал?

– Не могу знать-с.

– Надолго ли, по крайней мере...

– Ничего не изволили говорить... Только что, ежели к тетеньке, месяца два пробудут.

– Это просто низость!.. Из рук вон... По крайней мере, может быть, он приказывал что-нибудь насчет обеда... и вообще...

– Ничего не приказывали...

– Это просто свинство!!

Бабков раздосадован очень. Сначала он начинает негодовать на все человечество вообще, потом на Клубницыных в частности. Свои негодования он начинает с фразы: «о люди! люди! Есть ли в вас искра» и т. д., а оканчивает: «просто свиньи, невежи, больше ничего...» После этого приговора он исключительно предался соображениям касательно своего спасения и убедился, что нужно снова появиться в городе. Следствием этих соображений было то, что через несколько минут Бабков стоял среди двора мужицкой *сборни* и довольно повелительным голосом взывал:

– Эй! кто тут?

Старый согнутый старик вылез из низенькой двери мужицкой избы.

– Есть лошади?..

– Да вы кто такой?

– Есть лошади?

– Есть.

– Давай...

– Это вы воспенный лекарь-то?

– Я. Давай...

Лошади готовы. Старик вынес Бабкову какую-то книгу – расписаться.

– Читать умеешь? – спрашивает Бабков.

– Никак нет.

– Гм.

Бабков соображает это и, не записав своей фамилии, пишет только: «*Взято* три лошади; без прогонов». – К вечеру усталая и изможденная тройка дотащила его опять до города N.

Примечания

Печатается по журнальному тексту: «Искра», 1865, №№ 36, 37, 38. При жизни писателя не перепечатывался.

В этом очерке мы встречаемся с одним из наиболее ранних выражений эстетических взглядов Успенского. Срывая с «неизвестного» его «таинственную мишуру», требуя в литературных произведениях устранения романтических «декораций», мешающих видеть правду истинной жизни, Успенский ратует за реалистический метод изображения действительности.